

## ЯЗЫКОЗНАНИЕ

УДК 811.161.1'38

С. Л. Попов

### О КРИТИКЕ КОНЦЕПЦИИ ТРАНЗИТИВАЦИИ РУССКИХ ГЛАГОЛОВ

*С. Л. ПОПОВ. ЩОДО КРИТИКИ КОНЦЕПЦІЇ ТРАНЗИТИВАЦІЇ РОСІЙСЬКИХ ДІЄСЛІВ.*

*У статті аналізуються критичні зауваження, що були висловлені у статті А. Градінарової та Є. Зарецького з приводу концепції розвитку перехідності у неперехідних російських дієслів, яка розробляється М. Н. Епштейном. В переважній більшості випадків наводяться контраргументи, що підтримують цю концепцію, спираючись на доведені лінгвістичні положення та емпірично достовірні письмові висловлювання самого М. Н. Епштейна. Зауваження щодо непояснення М. Н. Епштейном факта великої кількості вже втрачених перехідних дієслів в мовленні селян середини ХІХ століття визнається слушним, і пропонується відповідне пояснення.*

*Ключові слова: дієслово, перехідність (транзитивність), безприменникове керування, дієслівна дія, прямий об'єкт, акузатив.*

*С. Л. ПОПОВ. О КРИТИКЕ КОНЦЕПЦИИ ТРАНЗИТИВАЦИИ РУССКИХ ГЛАГОЛОВ.*

*В статье анализируются критические замечания, высказанные в статье А. Градинаровой и Е. Зарецкого по поводу разрабатываемой М. Н. Эпштейном концепции современного развития переходности у непереходных русских глаголов. В подавляющем большинстве случаев приводятся поддерживающие данную концепцию контраргументы, которые опираются на доказанные лингвистические положения и эмпирически очевидные письменные высказывания самого М. Н. Эпштейна. Замечание по поводу необъяснения М. Н. Эпштейном факта большого количества ныне утраченных переходных глаголов в речи крестьян середины ХІХ века признается справедливым, и предлагается соответствующее объяснение.*

*Ключевые слова: глагол, переходность (транзитивность), беспредложное управление, глагольное действие, прямой объект, аккумулятив.*

*POPOV S. L. ON CRITIQUE OF RUSSIAN VERBS TRANSITIVIZATION CONCEPT.*

*The article analyses criticisms made in A. Gradinarova and E. Zaretsky's work regarding the concept of contemporary developing transitivity with intransitive Russian verbs, which is being created by M.N. Epstein. The following criticisms are considered and discussed. 1) M.N. Epstein does not notice that in the Russian language transitive verbs are massively derived from intransitive with affixes, prefixes in particular. However, the authors of the article do not take into account that such derivative verbs differ from motivating ones in lexical meanings;*

*2) M.N. Epstein does not notice that many ancient Russian transitive verbs lost their ability to control non-prepositional accusative due to the emergence of other cases in the language. However, the authors of the article do not take into account the following. Within non-prepositional verbal control, those verbs, which controlled the accusative, were not considered to be transitive and they started to control other cases. It happened because their verbal action did not transform the object expressed by the accusative; 3) M.N. Epstein views transitivity as a mental category, which demonstrates the agent's cognitive self-sufficiency who takes responsibility for transforming the affected object. However, M.N. Epstein does not clarify why afterwards the lost Russian transitive verbs were still observed in peasants' speech up to the middle of the 19<sup>th</sup> century. In terms of M.N. Epstein's specified aspect inactivity, the reproach seems fair. However, it is possible to explain the feature hypothetically. In*

---

© С.Л. Попов, 2017

<https://doi.org/10.5281/zenodo.1036131>

*fact, the transitive verbs that remained in peasants' speech in the 19<sup>th</sup> century were likely to be dialectisms which are generally accepted as having the property of inertia. In ancient times, there were more such verbs than we can observe now because originally a young language shows all its abilities and subsequently only those verbs, which are in communicative demand, remain; 4) M.N. Epstein does not pay attention to the fact that the languages of prehistoric nations are as analytical as English, which he recognizes as a model language. However, the authors of the article do not take into account that analyticity of these languages is incompatible with the analyticity of English as it is connected with its critical lack of words and essentially syncretic incorporation; 5) M.N. Epstein does not take into consideration that native English speakers are more inclined to fatalism than native Russian speakers are. However, the authors of the article do not specify how these data relate to the universally recognized significant distinction between civilized developments of native speakers of both languages. It is a well-known fact that those nations who believe not in themselves but their destinies are not able to create well-developed civilizations; 6) M.N. Epstein does not mention the reason for the 'new Russian transitivity' and this reason is some native Russian speakers' individualism. However, M.N. Epstein does not deny the reason anywhere. What is more, he implies it in a number of his statements also; there is a direct reference to the reason in his latest monograph; 7) M.N. Epstein cannot deny that the 'new Russian transitivity' is wordplay, which is not beyond conversationality. Nevertheless, M.N. Epstein admits it what can be proved by his statements in writing. Thus, out of all criticisms that the authors of the article addressed to Epstein (as a creator of Russian verbs transitivity concept) it is possible to consider as fair only the fact he did not try to explain why the transitive verbs, which were lost subsequently, were used in peasants' speech at least until the middle of 19<sup>th</sup> century. It is impossible to view the other criticisms as relevant.*

*Key words: verb, transitivity, non-prepositional verbal control, verbal action, direct object, accusative.*

Поводом для написания настоящей статьи явилось знакомство с критическим мнением А. Градинаровой и Е. Зарецкого о транзитивной концепции М. Н. Эпштейна, представленным в журнале «Болгарская русистика» в 2009 году в статье «Транзитивация русских глаголов по новым моделям: языковая тенденция или игра со словом?» [3], то есть через два года после появления программной статьи М. Н. Эпштейна «О творческом потенциале русского языка. Грамматика переходности и транзитивное общество» [12]. С момента обнародования указанной статьи А. Градинаровой и Е. Зарецкого конкретной реакции на содержащуюся в ней критику со стороны М. Н. Эпштейна не последовало. В 2016 году увидело свет новое программное произведение М. Н. Эпштейна, монография «От знания – к творчеству. Как гуманитарные науки могут изменять мир» [13], в которой имеется раздел, посвященный «проективной лингвистике», отчасти позволяющий ответить на критические замечания А. Градинаровой и Е. Зарецкого, хотя и здесь М. Н. Эпштейн критику в свой адрес не рассматривает. Обусловленная появлением новой монографии М. Н. Эпштейна частичность возможности ответа на указанные замечания не означает невозможности выдвижения логичных контраргументов в отношении всех таких замечаний, что и каузирует потребность в написании настоящей статьи.

Целью статьи является изучение обоснованности критики А. Градинаровой и Е. Зарецким разрабатываемой М. Н. Эпштейном концепции транзитивации русских глаголов.

Прежде всего необходимо признать, что, как все новое вызывает отторжение у консервативной части любого социума, так и несомненно новаторские предложения М. Н. Эпштейна закономерно вызывают отторжение у консервативной части сообщества лингвистического, к которой, безусловно, относятся и критикующие концепцию М. Н. Эпштейна А. Градинарова и Е. Зарецкий (далее – авторы статьи). В ученом, в частности лингвистическом, мире критические высказывания – явление не просто нормальное, это явление необходимое, поскольку оно является залогом общенаучного, в частности лингвистического, прогресса. Как известно, в критическом научном дискурсе принято соблюдать определенные этические нормы, в частности не применять негативнооценочные

высказывания, оскорбляющие достоинство критикуемого ученого. Поэтому такие относящиеся к М. Н. Эпштейну характеристики, как «языковедческие изыскания», «лингвокультурологические откровения», «мессианские программы», «грубые спекуляции», «Вероятно, найти культурно-исторические, политические и идеологические факторы ... оказалось непосильной задачей даже для профессора философии». [3, с. 123, 125, 126, 131], невозможно признать уместными в научном, в том числе критическом, контексте. В следующем высказывании авторов даже допускается намеренное, с целью издевки искажение действительности (имеющуюся, и не единственную в тексте статьи, опечатку при цитировании исправить не можем): «Проф. М.Эпштейн хочет привить синтетичному русскому языку стратегии аналитического английского, игнорируя тот факт (или не зная о том), что структурные механизмы каждого конкретного языка теснейшим образом связана с его типологическими особенностями» [3, с. 126]. Как М. Н. Эпштейн, не первый год преподающий в университете Эмори (Атланта, США), может не знать о связи структуры с типологическими особенностями языка, в среде которого он постоянно живет и работает, – вопрос риторический.

Рассмотрим критические замечания авторов статьи по существу в предложенном в анализируемой статье порядке (нумерация замечаний – наша).

1. В русском языке, в отличие от английского языка, на который М. Н. Эпштейн ссылается как на пример для подражания, имеется богатая палитра аффиксов, при помощи которых, особенно при помощи префиксации, регулярно образуются переходные глаголы. Авторы статьи не пишут о том, сохраняется ли у производного переходного глагола лексическое значение мотивирующего непереходного глагола, поэтому, по принципу умолчания, полагаем, что, по их убеждению, оно сохраняется, иначе было бы нелогично выдвигание такого аффиксационно-переходностного аргумента. Здесь же авторами статьи приводится небольшая, специально подобранная цитата из известного труда В. В. Виноградова «Русский язык (Грамматическое учение о слове)», подтверждающая это положение, и подробно, со ссылками на работы специалистов по английскому языку, демонстрируется аффиксальная бедность этого языка [3, с. 126-127]. Данное замечание представляется нам некорректным по следующим причинам.

Во-первых, авторы статьи оставляют без внимания информацию из приводимой ими цитаты, взятой из указанного труда В. В. Виноградова, о том, что две трети русских глаголов являются непереходными. Получается, что такая диспропорция сохраняется в языке, в котором при помощи аффиксов, и в первую очередь префиксов, регулярно от непереходных глаголов образуются переходные. Следовательно, роль аффиксов в образовании переходных глаголов преувеличивается.

Во-вторых, и это гораздо существеннее нашего первого контраргумента, авторы статьи не обращают внимания на тот очевидный факт, что, например, префиксация образует от непереходного глагола переходный глагол, лексическое значение которого отличается от лексического значения мотивирующего (непереходного) глагола. Авторы статьи не упоминают, что об этом пишет и В. В. Виноградов в цитируемой ими книге, и пишет весьма категорично: «Не надо лишь преувеличивать способности приставок к переводу непереходных значений глагола в переходные. Формулы вроде такой: «Всякий простой непереходный глагол становится переходным при посредстве префиксации» – неверны» [2, с. 523]. Как убедительно демонстрирует Е. Л. Некрылова, сравнивая древние, впоследствии вышедшие из употребления или изменившие модель управления переходные глаголы и современные от них переходные производные, воевати (врага, землю) – это направлять военные действия на кого-либо, что-либо, а завоевывать – покорять вооруженной силой, овладевать, причем чем-либо, но не кем-либо; надеять – каузировать в ком-либо надежду без каких-либо условий, а обнадеживать – давать надежду при условии обещания чего-либо или заверения в чем-либо; смеять – каузировать чей-то смех, а осмеивать – представлять в смешном виде, подвергать насмешке [5]. Следовательно, префиксация не создает переходный глагол с тем же лексическим значением, которое имеется у мотивирующего – ранее переходного, а в настоящее время изменившего модель управления или утраченного – глагола.

Таким образом, упрек М. Н. Эпштейну в том, что он недооценивает роль русской аффиксации в деле создания переходных глаголов, справедливым признать невозможно.

2. Авторы статьи обращают внимание М. Н. Эпштейна на то, что многие древние переходные глаголы утратили управление беспредложным винительным, то есть, по мнению этих авторов, перестали быть переходными, не потому, что мировоззрение русских людей менялось в сторону установления несамостоятельности мышления (как известно, для М. Н. Эпштейна переходность – прежде всего мыслительная категория [12]), а по причине появления других падежей, которые стали обслуживать значения, ранее обслуживаемые беспредложным винительным [3, с. 128-129]. Данный аргумент трудно признать корректным по следующей причине.

Факт развития русской падежной системы от синкретично общеобъектного винительного беспредложного и зафиксированного на его фоне субъектного именительного к падежам косвенным широко известен, в частности эти события подробно и аргументированно описаны В. Б. Крысько [4], что вряд ли М. Н. Эпштейну неизвестно. Однако авторы статьи не рассматривают вопрос о семантико-грамматической сущности переходности, что позволило бы обратить внимание на то, что далеко не все древние формы беспредложного винительного можно признать переходными.

М. Н. Эпштейн, как известно, сужает понятие переходности до соответствия критерию преобразования объекта прямым действием управляющего глагола: «Переходность глагола – это, в самом общем виде, выражение семантики активного действия, преобразующего свой предмет» [12]. В РГ-80 дается более широкое понимание переходности: переходные глаголы «означают действие, направленное на объект; это может быть объект создаваемый (строить дом), изменяемый (белить потолок, колоть дрова), уничтожаемый (жечь письма, бить посуду)», а также «воздействие на объект, не производящее в нем никаких изменений: читать книгу, благодарить отца, поздравлять сестру, хвалить ученика, одобрить идею. Переходные глаголы называют также чувственные восприятия (видеть картину, слушать музыку, чувствовать боль), отношение (любить человека, ненавидеть врага). Объект при таких глаголах означает предмет, который воспринимается, к которому направлено отношение» [10, с. 613]. Однако Е. Л. Некрылова убедительно доказывает, что и в этих последних случаях о преобразовании объекта действия говорить можно: «Что касается такого отмеченного в РГ-80 вида переходности, при котором наблюдается «воздействие на объект, не производящее в нем никаких изменений: читать книгу, благодарить отца, поздравлять сестру, хвалить ученика, одобрить идею» ..., – то можно согласиться с тем, что это действие не изменяет объект физически (по крайней мере, настолько значительно, чтобы это было весьма заметно), но совершенно очевидно, что состояние объекта – психическое при одушевленности или статусное при неодушевленности – не остается прежним: статусное состояние книги изменяется на прочитанное, а такое же состояние идеи – на одобренное; психическое состояние отца изменяется на удовлетворенное благодарностью, такое же состояние сестры – на удовлетворенное поздравлением, а ученика – на удовлетворенное похвалой. При такой переходности наблюдается нефизическое воздействие на объект, вызывающее в нем, на первый, поверхностный, взгляд, лишь нефизические изменения, однако на самом деле эти изменения могут носить пусть не такой значительный, как при создании, уничтожении и другом активном физическом изменении, но эмпирически очевидный физический характер: например, прочитанная книга может иметь такие признаки, как потертость, загрязнение, загнутые страницы, а одобренная идея, зафиксированная в письменном виде, может быть завизирована резолюциями, подписями и печатями; удовлетворенные благодарностью, поздравлением и похвалой соответственно отец, сестра и ученик могут, в отличие от прежних своих состояний, улыбаться, кивать, жестиковать и проявлять другие признаки удовлетворенности.

Следовательно, глаголы, действия которых преобразуют объект и физически, и лишь статусно или психически, изменяют объект – с несколько разной мерой очевидности – с точки зрения не только субъекта действия, но и окружающих, то есть абсолютно или относительно объективно. Абсолютно объективную и относительно объективную переходности логично считать образующими понятийный центр и близкую к центру зону переходности» [6, с. 125].

В отношении глаголов чувственного восприятия и отношения Е. Л. Некрылова замечает: «Действия таких глаголов всегда очевидны лишь для субъектов этих действий, для

окружающих эти действия очевидны далеко не всегда, и именно для окружающих объекты таких ментальных действий остаются неизменными. Однако, если, абстрагировавшись от мнения окружающих, принять точку зрения субъектов, производящих такие действия, станет понятно, что именно для таких субъектов являются очевидными статусные изменения объектов, подвергнутых воздействию глаголов указанных в РГ-80 «чувственных восприятий» и «отношения». Так, именно в сознании субъекта, который видит картину, слушает музыку, чувствует боль, эти картина, музыка и боль получают статус пространственно-временной актуализации, как правило неизвестной для окружающих. То есть такие субъекты действиями глаголов видеть, слушать и чувствовать изменяют статус картины, музыки и боли с ранее неактуального на теперь или уже некоторое время актуальный для них в пространстве и времени: картина видимая, музыка слушаемая, боль чувствуемая. Что касается любви и ненависти, то это, безусловно, прежде всего личные чувства, объекты которых, несомненно, являются для субъектов таких чувств преобразованными, и лишь проявление этих чувств может быть очевидным для окружающих. Таким образом, для всех показанных в настоящем абзаце субъектов, в отличие от окружающих, преобразование таких объектов существует, чем и объясняется употребление при таких глаголах беспредложного винительного, применение которого, как показано выше, всегда связано с преобразованием объекта глагольного действия. Следовательно, в описанных здесь случаях глаголы изменяют объект очевидно только для субъекта действия, то есть субъективно. Такие глаголы логично считать периферией переходности» [6, с. 125].

В приводимых авторами статьи примерах «переходности», фиксируемой лишь на том основании, что это управление беспредложным винительным, отсутствует изменение объекта глагольного действия, по причине чего соответствующие глаголы не могут быть признаны переходными. Так, в Поють время Бусово время не меняется от того, что о нем поют, в сие спорить сие не меняется от того, что о нем спорят, в мстя свою обиду обида не меняется оттого, что за нее мстят, в пренебрег болезнь болезнь не меняется оттого, что ею пренебрегают. Сами приведенные нами современные, выраженные предложнопадежными формами толкования позволяют понять, что все эти формы управления беспредложным винительным не сохранились потому, что в этих случаях глагольное действие не изменяло свой объект.

Следовательно, обращение внимание М. Н. Эпштейна, сосредоточенного на семантике переходности как преобразовании объекта действия, на уход беспредложного винительного с непереходной семантикой вряд ли можно признать уместным.

3. Авторы статьи демонстрируют М. Н. Эпштейну наблюдаемое ими в его концепции противоречие. Они приводят достаточно большое количество действительно переходных, упоминаемых и М. Н. Эпштейном глаголов «из сочинений известного русского мемуариста второй половины XVIII – начала XIX века Андрея Болотова» и из словаря В. И. Даля, например каять, отчаивать, трудить (этот глагол вспоминает и М. Н. Эпштейн в речи Чацкого: «Чтоб не трудить себе ума...» [12]), запинать, зарекать, кручинить, появлять, нравить, соглашать и др. [3, с. 128-131]. После чего авторы статьи приходят к выводу, вскрывающему, по их мнению, противоречие в концепции М. Н. Эпштейна: «Выходит, что во времена Даля русский народ еще имел «развитое транзитивное мышление» и не находился «в плену субстанциализма и атрибутивизма», а потом вдруг стал «впадать» в «языческий, мифический, мистический, отчасти даже сновидческий мир, в котором лица и вещи наделены самочинными свойствами и способностями, не переходящими в дело» [цитаты из: Эпштейн 2007]. Однако вместо того чтобы последовать собственной логике и признать, что русский крепостной крестьянин обладал куда более транзитивным мышлением, а следовательно, более прогрессивным мировоззрением, чем современный россиянин, проф. М.Эпштейн избегает лингвокультурологических комментариев по этому вопросу» [3, с. 131]. Данный упрек отчасти – как инкриминирующий М. Н. Эпштейну определенное аспектное бездействие – справедлив, но в целом его трудно признать корректным.

Мы признаём, что М. Н. Эпштейн мог бы попытаться ответить на вопрос о том, почему вплоть до середины XIX века именно в крестьянской речи наблюдаются переходные глаголы, впоследствии утраченные, ведь то, что крепостные крестьяне употребляли такие глаголы, действительно – особенно при поверхностном восприятии (подробнее о степенях восприятия –

см. [8, с. 5-105]) – наводит на мысль о том, что указанные крестьяне употребляли эти глаголы потому, что обладали самостоятельным, транзитивным мышлением. Поскольку М. Н. Эпштейн на данный вопрос не отвечает, попытаемся это сделать.

Вначале обратим внимание на тот весьма очевидный факт, что указанные переходные глаголы в середине XIX века (это наиболее поздняя их фиксация) употребляются в речи крестьян, но не дворян и даже не простых горожан, ибо, если бы было не так, мы видели бы эти глаголы в произведениях классиков русской литературы (трудить в речи Чацкого – едва ли не единственное исключение). Безусловно, произведения классиков отражают прежде всего речь не крестьянскую, однако последняя все же в какой-то, пусть сравнительно небольшой, мере в классических произведениях представлена, и в ней глаголы, наблюдаемые у Болотова и, что особенно ценно, у «собирателя русской лексики» В. И. Даля, не представлены. Причина этого непредставления нам видится в следующем, и мы должны сразу оговориться, что эта причина носит гипотетический характер.

Возможно (как известно, Даль далеко не всегда указывает место фиксации слова), эти глаголы – диалектизмы. Такое предположение подтверждается тремя моментами. Во-первых, классики не отражают многие диалектизмы потому, что далеко не всегда тот или иной диалект оказывается в зоне их внимания, привязанной, как правило, к месту жительства, например к родовому имению. У городских же писателей доступ к крестьянской речи и вовсе ограничен. Во-вторых, как хорошо известно, именно в диалектах, в силу их изолированности от литературного языка, дольше всего сохраняется то, что в нем исчезает или изменяется. В-третьих, в отличие от простых носителей языка, лингвисты хорошо знают, что В. И. Даль был пуристом – он не только придумывал русские замены иноязычным заимствованиям, но и намеренно собирал абсолютно все, в том числе диалектные, слова, демонстрируя таким образом противопоставляемое заимствованиям богатство русского языка. Следует сказать и том, что у Даля показанные авторами статьи глаголы представлены им как покидающие язык: *каять* и *трудить* имеют помету «стар.», а *отчаивать* – помету «церк.», о чем авторы статьи умалчивают.

Лингвисты знают, что именно благодаря диалектизмам словарь Даля насчитывает 200 000 слов, в то время как самый большой современный толковый словарь русского языка (так называемый «БТС» под ред. А. С. Кузнецова) насчитывает 130 000 слов (второе издание БАС, как известно, тоже планируется с таким объемом словника). Лингвистам известно, что в истории русского языка под влиянием различных объективных факторов диалектные различия постепенно сходят на нет, чем и объясняется несохранение рассматриваемых переходных глаголов в речи современных сельских жителей. Очевидно, что гипотеза о диалектном характере крестьянских переходных глаголов носит весьма вероятностный характер. Если эта гипотеза верна, то причина крестьянской глагольной транзитивности, просуществовавшей как минимум до середины XIX века, – не в полной, превышающей городскую, в том числе свойственной образованным людям, самостоятельности их мышления, безусловно противоречащей историческим данным, а в инертности диалектизмов.

Однако из этой гипотезы, сколь бы вероятностной она ни была, следует другой вопрос, который не был поставлен ни М. Н. Эпштейном, ни авторами статьи: почему свидетельствующие о самостоятельности и, как следствие, транзитивности мышления переходные глаголы были достаточно широко представлены в то время, когда о таком качестве мышления, вне всяких сомнений, говорить не приходится? Ответ на этот вопрос может быть только один: эти переходные глаголы употреблялись не потому, что носители древнерусского языка обладали самостоятельностью мышления, а потому, что древнерусская грамматика, как грамматика любого молодого языка, представляющая множество нередко абсолютно синонимичных возможностей для выражения мысли, располагала богатым арсеналом таких предоставленных складывающейся структурой языка возможностей, и этот арсенал впоследствии сокращался по мере отпадения коммуникативных потребностей в той или иной такой возможности. Судя по всему, у носителей русского языка под влиянием социально-политических обстоятельств их истории все чаще отпадала потребность брать на себя ответственность за преобразование объектов действия, что приводило к сокращению числа позволяющих выражать такую ответственность переходных глаголов.

4. Авторы статьи указывают на то, что, как и в аналитическом английском, на который призывает ориентироваться М. Н. Эпштейн, одновременно переходными и непереходными являются глаголы в не менее аналитических языках первобытных этносов (умирать/убивать, гореть/жечь, падать/ронять), которые закономерно признаются отстающими от цивилизованных народов в своем когнитивном развитии [3, с. 131-132]. Здесь содержится скрытый вопрос М. Н. Эпштейну: почему он не призывает ориентироваться на транзитивность глаголов в языках первобытных этносов? Этот аргумент трудно признать корректным.

Следует различать две разновидности аналитизма: аналитизм первобытный, характеризующийся весьма небольшим количеством чаще всего синкретичных по своей сути слов-инкорпораций, в которых не различаются, то есть инкорпорируются, не только переходные и непереходные значения, но и субъект и предикат, предикат и объект, субъект и атрибут, объект и атрибут [11], и аналитизм цивилизованный, например присутствующий в явном виде в прославляемом О. Есперсеном многословном английском, толковые словари которого сегодня насчитывают до 300 000 слов. Таким образом, сравнение аналитизма английского с аналитизмом языков первобытных этносов, например америндских и папуасских, неуместно.

5. Ссылаясь на мнения некоторых ученых и писателей, авторы статьи доказывают, что на самом деле, то есть вопреки убежденности М. Н. Эпштейна, фатализм (вера в судьбу) присущ носителям английского языка в гораздо большей мере, чем носителям языка русского [3, с. 132-136]. Мы не беремся оспаривать мнение о том, что среди носителей английского, как и любого другого языка, имеются фаталисты, и не беремся обсуждать их количество (цитату на с. 134, в которой речь идет о том, что пассивное мировоззрение особенно активно формируется под влиянием протестантизма, мы не рассматриваем, поскольку здесь отсутствуют и ссылка на ее автора, и закрывающая цитату кавычка). Однако уровень цивилизационного развития носителей английского языка, прежде всего в Великобритании и США, свидетельствует о том, что эти цивилизации могли быть созданы людьми, верящими в свои силы, а не в судьбу, то есть людьми, которые отличаются самостоятельностью мышления.

Что же касается фиксируемой авторами статьи нефаталистичности мировосприятия и самостоятельности мышления носителей русского языка, то нам остается лишь сослаться на другое авторитетное мнение, а именно на вывод А. Вежбицкой, содержащийся в ее книге, опубликованной на русском языке в Москве в 1996 году под редакцией М. А. Кронгауза и сопровождаемой вступительной статьей Е. В. Падучевой. В этой монографии А. Вежбицкая фиксирует такие особенности русского менталитета, как «подчеркивание ограниченности логического мышления, человеческого знания и понимания», «ощущение того, что людям неподвластна их собственная жизнь, что их способность контролировать жизненные события ограничена», «склонность русского человека к фатализму, смирению и покорности», «недостаточная выделенность индивида как автономного агента, как лица, стремящегося к своей цели и пытающегося ее достичь, как контролера событий» [1, с. 34]. Такое же видение ментальной самостоятельности носителей русского языка находим в характеристиках грамматических тенденций в русском языке, представленных Т. Б. Радбилем: «Иновационные тенденции в русской грамматике показывают значительное расширение сферы применимости пассивно-возвратных и безличных конструкций, особенно по отношению к концептуализации ситуаций или психических состояний, которые требуют по логике активного «присутствия» агенса» [9, с. 322-323].

6. Ближе к концу статьи авторы, со ссылками на многие источники, предлагают объяснение причин современного разговорного употребления непереходных глаголов в качестве переходных (пошел гулять собаку) или беспостфиксного, а следовательно переходного, употребления возвратных глаголов (ты меня улыбнул). Эту причину они видят в индивидуализме, формирующемся у носителей русского языка под влиянием постмодернизма [3, с. 137-141].

Эта весьма очевидная причина «новой русской переходности» в статье М. Н. Эпштейна 2007 года прямо не названа, но ничто в данной статье ей не противоречит, в том числе приведенная авторами статьи цитата: «Обычно все начинается так: новые грамматические тенденции пробиваются в разговорном или даже просторечном стиле, под знаком сниженной,

иронической, шутливой экспрессии, демонстративно нарушая языковую норму, как бы играя с ней... И лишь постепенно эти тенденции усваиваются языком в целом» [12]. Нетрудно догадаться, что в разговорном или просторечном стиле новую переходность демонстрируют не все, а некоторые носители русского языка, то есть индивиды. В статье М. Н. Эпштейна 2007 года имеется и другая цитата на эту тему (авторами статьи не приводимая), тоже имплицитная индивидуальность: «Хотя и наивная детская речь, и сниженно-игровая взрослая представляют собой стилевые окраины языка, именно там, на периферии, прежде всего обозначаются структурные языковые сдвиги, ищущие выхода на поверхность в обход грамматической нормы» [12] (норму обходят только индивиды, ведь если все начнут нарушать норму, то она перестанет быть нормой). Однако в монографии 2016 года М. Н. Эпштейн пишет об индивидуальности как причине языковых изменений вполне определенно: «Любое новое слово возникает в сознании и речи индивида, а затем уже принимается или отторгается языковым сообществом. Народ как единое целое не может сам ничего написать или произнести, у него нет руки или рта» [13, с. 7].

7. В конце статьи авторы приходят к выводу, что новая русская переходность не выходит за рамки невсеобщей разговорности, «за рамки раскованной игры со словом» [3, с. 142]. Однако и М. Н. Эпштейн признаёт, что «зона употребления непереходных глаголов как переходных постепенно расширяется, оставаясь при этом в рамках сугубо разговорного, “ненормативного” стиля речи» [12].

Таким образом, из всех критических замечаний, адресованных авторами статьи М. Н. Эпштейну как создателю концепции современной транзитивации русских глаголов, справедливым можно признать лишь то, что он не предпринял попытки объяснить, почему в речи крестьян утраченные впоследствии переходные глаголы употреблялись как минимум до середины XIX века и, в качестве реакции на следующую за этим другую неясность, почему в не отличающейся когнитивной эволюционностью древности переходных глаголов было больше, чем впоследствии. Остальные замечания, как было показано выше, критики не выдерживают.

В заключение обратим внимание на вторую (после двоеточия) часть названия анализируемой здесь статьи: «языковая тенденция или игра со словом?». Из такой формулировки следует, что авторы статьи считают языковую тенденцию и языковую игру понятиями несовместимыми. Однако исследователи языковой игры, как и М. Н. Эпштейн (см. выше), эти понятия не противопоставляют. Так, Б. Ю. Норман, в числе прочих языковых игр выделяющий «новую переходность» как разновидность «игры с управлением» [7, с. 162-165], прямо пишет о том, что «в основе языковой игры лежат некоторые внутренние, «природные» свойства самого языка – его строения и функционирования в обществе. ...языковая игра – это постоянное нарушение каких-то правил или, как мы выразились, балансирование на грани нормы. И в то же время сами эти нарушения не бессистемны и случайны, а также происходят по определенным правилам, подчиняются некоторым закономерностям (потому их нетрудно разложить по полочкам)» [7, с. 10]. Из этого следует, что «языковая игра в переходность» закономерно обусловлена имеющейся в русском языке структурной возможностью употреблять непереходные глаголы как переходные, в том числе беспостфиксно употреблять в качестве переходных глаголы возвратные. Если такая игра, как пишет Б. Ю. Норман, подчиняется некоторым раскладываемым по полочкам закономерностям, то доказать ее постулируемое авторами статьи отличие от тенденции будет проблематично. Именно к такому выводу приходит и Б. Ю. Норман: «В целом же оказывается, что через языковую игру, через нарушение правил пробивает себе дорогу, постепенно «легализуясь», мощная внутриязыковая тенденция. Фактически мы имеем здесь дело с изменением содержания категории глагольной переходности, а может быть, и шире — с кардинальной перестройкой норм синтаксической сочетаемости в русском языке» [7, с. 165]. Следовательно, выдвинутая авторами статьи в ее заголовке дизъюнкция «тенденция или игра» констатацией несовместимости этих понятий являться не может.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание / Пер. с англ.; отв. ред. М. А. Кронгауз; вступ. ст. Е. В. Падучевой. М.: Русские словари, 1996. 416 с.



2. Виноградов В. В. Русский язык (Грамматическое учение о слове): учеб. пособие для вузов. 3-е изд., испр. М.: Высш. шк., 1986. 640 с.
3. Градинарова А. Транзитивация русских глаголов по новым моделям: языковая тенденция или игра со словом? // Болгарская русистика. 2009. № 3-4. С. 123-146.
4. Крысько В. Б. Исторический синтаксис русского языка: объект и переходность. 2-е изд., испр. и доп. М.: Азбуковник, 2006. 424 с.
5. Некрылова Е. Л. О стихийной компенсации утраты переходности русских глаголов их префиксацией: когнитивно-эволюционный аспект // Вестник Днепропетровского университета. Серия «Языкознание». 2017. Т. 1. № 11. Вып. 23 (1). С. 99-105.
6. Некрылова Е. Л. Преобразование объекта глагольного действия как универсальный критерий переходности // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: «Філологічні науки» (мовознавство): Збірник наукових праць. № 7. Дрогобич, 2017. С. 124-128.
7. Норман Б. Ю. Игра на гранях языка. Москва: Флинта: Наука, 2006. 344 с.
8. Попов С. Л. Когнитивные основания эволюции форм русского синтаксического согласования: Монография. Харьков: НТМТ, 2013. 150 с.
9. Радбиль Т. Б. Основы изучения языкового менталитета: учеб. пособие. М.: Флинта: Наука, 2010. 328 с.
10. Русская грамматика / Гл. ред. Н. Ю. Шведова: в 2-х т. Т. I. Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. Словообразование. Морфология. М.: Наука, 1980. 784 с.
11. Скорик П. Я. Инкорпорация // Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. М.: Сов. Энциклопедия, 1990. С. 193.
12. Эпштейн М. Н. О творческом потенциале русского языка. Грамматика переходности и транзитивное общество // Знамя. 2007. № 3. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/znamia/2007/3/ep18.html>.
13. Эпштейн М. Н. От знания к творчеству. Как гуманитарные науки могут изменять мир. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. 480 с. (Серия Humanitas).

*(Статья поступила в редакцию 10 сентября 2017 г.)*